А все-таки посреди всеобщего нынешнего бега нет ничего отраднее, как разогнуть старую книжку и со счастливым удивлением увидеть, что насквозь известная книга опять нова и неведома и словно тоже ждала тебя, чтобы вы защищались от времени вместе, потому что и ей новые дни не в радость. И даже печалившие тебя

некогда страницы теперь в памяти

уже не так ранят сердце. В ноябре 1991-го года Виктор Петрович поставил точку в «Последнем поклоне». Начатый в 1957-м году светлой и грустной, еще немного литературной «Далекой и близкой сказкой» и бесхитростной почти детской «Зорькиной песней» «Поклон» потом медленно темнел. Свет еще вспыхивал там и там, даже и посреди самых драматических глав (какой бы это был Виктор Петрович, если бы не ухватывался за каждый промельк света, чтобы смеяться, смеяться, как умел только он?), но с годами горечь и тяжесть копилась скорее - родная история постаралась, чтобы сумерки одолели и его золотую, кажется, только радости открытую душу. Книжка жила, как мы, «взрослела» и делалась мудрее и печальнее.

Я перечитывал «Поклон» раз пять. И по выходе очередной книги, и когда приходилось писать предисловия к молодогвардейскому, так и не законченному из-за слома перестроечных лет собранию сочинений, и к отдельным

изданиям. И всегда жизнь защищалась во мне и норовила остаться на светлой стороне «улицы». Но Виктор Петрович не пускал к самообману. И скоро я стал замечать, что, как я «заупрямлюсь», так сама матушка-природа станет на его сторону.

Вот, скажем, тяжелее всего

мне давалась, может быть, одна из самых страшных глав «Без приюта», где брошенный отцом мальчик (мать утонула раньше) пытается жить один в летней парикмахерской, приворовывая овес у лошадей (надо же что-то есть), а то и кусок хлеба в магазине, топя печку полом (откуда напасешься дров), потому что парикмахерская-то летняя, да на дворе лютая сибирская зима. И вот читаю, как лупит мальчик учительницу в кровь голиком (он спит на уроке, у него вши, и учительница тащит его за шиворот и брезгует им), и не знаю, как остановить мальчика, как не ожесточиться вместе с ним.

А читаю в тепле, в кабинете Виктора Петровича в Красноярске, и подумываю, что можно было бы не доходить до свирепой физиологии. И тут посреди только что солнечного апреля дом разом вздрагивает от налетевшего за окном совершенного безумия. Обрушивается мгновенная тьма. Снеглетит горизонтально, рвет деревья с одушевленной свирепостью, сбрасывает птиц, ломая крылья, и, кажется, вот-вот и дом не устоит. Сердце сжимается от бессилия

и ужаса. И я вдруг отрываюсь от окна и внезапно совсем не к месту, позабыв время и день, думаю: а как там он? Каково сейчас мальчику там, в летней насквозь прорванной ветром парикмахерской с мерзлой землей вместо пола, с мышами, которые норовят пробежать по лицу? И остро понимаю, что писатель еще жалеет меня, чтобы не надорвалось мое набалованное благополучием воображение. Ну что, дурак, понял?

И потом уже вся смущающая вторая часть «Поклона», вся тьма коллективизации, массового человеческого истребления и навсегда стронутой невозвратной жизни (которую ты и сам как-то особенно жалеешь, потому что застал эту жизнь в «Поклоне» в еще святые неповреждённого земного порядка) оборачивается к тебе не отвлеченными страницами учебника новейшей истории, а прямой человеческой бедой. И сразу легко понимаешь, почему Виктор Петрович так ожесточался на «Поднятую целину», за которую, любя «Тихий Дон», не мог простить Шолохова. Это родная Овсянка, искалеченная жизнь всех близких и дальних людей, которые были его вселенной (а по мере чтения становились и нашей) уже не давала уступить правды. В правде мизинец уступи – и нет русского художника. И вот плачь, сопротивляйся, сожми сердце, но уже читай как есть, не обманывай себя другими благополучными книжками, чтобы тебя потом так же не сдернуло тьмой, как закричавших от ужаса птиц за окном.

Заряд пролетел, и мгновенно развиднелось, словно и не было ничего. Но обломанные вершины и разом захламленный лес за окном уже не дали обмануться, что всё «примстилось», уже научили тебя

не прятать глаза от правды, чтобы не предать овсянских «гробовозов», которых хорошо любить в крепкую пору жизни, да трудно, когда воцарятся «революционные» Болтухины и человека силой потащат к смерти.

Сразу поймешь и почему, как доходит до партийного начальника, так художник забывает чернильницу, а макает перо прямо в помойное ведро и не может остановиться, потому что для него это они, они сломали свет жизни. И как мальчик лупил училку Ронжу веником-голиком: не видела, как топчут на базаре карманников сапогами, как пинают в живот беременных жен мужья, как пропивает последнюю копейку отец, а его ребенок сгорает на казенном топчане от болезни? Не знаешь узнай, проникнись! Так и этих он тем же голиком: не знаете, что сделали с жизнью? Узнайте!

Сколько он слышал после «Проклятых и убитых» не одних ненавистных «политруков и комиссаров», а и от старых солдат, успевших позабыть в сердце кровь и ожесточение и спасительно обучившихся видеть минувшем только юность победу. Сколько сам я корил его за жестокость «Печального детектива», за «физиологию «Людочки», за злые «затеси», где человек был страшен и не видел своего падения. Сами овсянские «гробовозы», узнавая себя, тоже нет-нет стучались у его порога: чё уж ты нас так-то? А это, странно сказать, и в нём защищался свет, книжки несчетные, которых он с детства перечитал видимо-невидимо всегда детским сердцем, свято веря в правду благородных пиратов и «прынцев», рыцарей и страдалиц. Отчего привычная тьма вокруг,

которая успела стать бытом, казалась еще несправедливее и темнее.

Неизживаемая детская, сиротская вечная детдомовская обида до конца дней не могла выгореть в сердце. И если это сердце все-таки не дало ожесточить и потерять себя, то потому, что в свой час успел поселиться в этой душе незаслоняемый свет, что была бабушка Катерина Петровна, были родные страдалицы тётки, было там и там, вопреки злу мира, встречаемое добро, которое он видел, по слову чужого ему поэтикой, но любимого Милорада Павича, «как ястреб цыплёнка». И он никогда не пропускал этого добра, чтобы тотчас не отблагодарить, не восславить, не засмеяться при самомалейшей возможности увидеть радость.

Так в нем и жили два человека и писали, как у того же Павича, один мужские, другой женские страницы книг, но зато уж когда они обнимались, то выходили «Ода русскому огороду», «Звездопад», «Пастух и пастушка». И тогда являлось целое человечество его родных, которые теперь и наши родные, вместе с Енисеем, травами и птицами, которых он всех знал в лицо и последним писал их так подробно («доцветали сон-трава, медуница и стародубы, обуглились мать-мачехи, занималось пламя жарков, раздувало пламя дубравных ветрениц»), словно отряжал их нам в духовном завещании, предчувствуя, что мы скоро окажемся в безвоздушном пространстве мертвой умозрительной литературы, где человек бьется в душной тесноте офисов и квартир, в которых никогда не открываются окна, потому что, открыв, надо будет уметь написать облако и ветер, жизнь реки и неба, дерева и птицы, которые не зря делят с

человеком землю и без которых он только слепая фигура шахматной партии, где белые (а чаще черные) начинают и выигрывают. А мы проигрываем, проигрываем...

...Мне хорошо и грустно читать «Последний поклон». Я знаю стародубы, прижившиеся в его огороде под кедром, и пытающиеся цвести венерины башмачки между окном и заплотом, и «самотёком» проползший на огород курослеп вдоль забора. Знаю, как горбится напротив Овсянки Караульный бык и как возносится над Слизневкой Шалунин бык, к которому прибило его измытую за девять дней Енисеем покойницу мать. Бревно, на котором мы сиживали над Енисеем (я в его великоватой мне рубахе: «Носи, мне мала!») так и лежит уже сколько лет, не уносимое не знающей ледохода связанной человеком рекой. (Увы, бревно снесли человечьей рукой и забетонировали берег. Правда, стихия тут же и ответила: первой же весной после «благоустройства» разбушевался Енисей и смыл коросту. Только вот бревна не вернул. – Ред.). Разве забор по обе стороны спуска к реке от его проулка покосился, и жалица вот-вот сожрёт его. А по нему еще хаживала за водой (летом по сорок вёдер в день) бабушка Катерина Петровна, и уходит на последней странице альбома «Прощание» он сам.

И родные его, слава Богу, все живы для меня. Тетка Апроня (Апраксинья Ильинична) всё высматривает из своего окна, кто завернул к Виктору Петровичу («опеть жульнариска?») И им всем хорошо поётся в моей памяти, когда она после «пеньзии» заворачивает к нему с чекушкой. Это у неё, в бывшем бабушкином дворе, я впервые увидел в ведре енисейской воды «живой волос», на какое-то

время отвадивший меня лазить в ледяной Енисей («Во, гляди, гробовозы, ничё крытикам (критикам, значит) не делатся. Ничё имя не страшно - поедом потом писателев едят»). И всё смеется его счастливый глухонемой брат Алёша («Ви-и-итя!»), без конца чего-то ладивший в его избе и умерший за год до Виктора Петровича («умер, как и жил, незаметно, во сне... Как я теперь в деревне буду чувствовать себя без Алеши?») И совсем ослепшая тетка Августа всё двигает ощупью чугунки на плите, и я лезу помочь и получаю от него по рукам: не тронь – она потом их не найдёт! А коли такой добрый, оставайся и живи тут, гуманис хренов!

И с дядей Кольчей младшим мы всё курим на крыльце после бани, пока Анна Константиновна под лиотаровской «Шоколадницей», вырезанной из «Огонька», накрывает на стол. И когда умирает дядя Коля, все отворачивает, отворачивает его портрет: «Чё всё глядишь, Коля? Скорей бы уж взял к себе».

Теперь все они там, недалеко от него на одном кладбище, и можно, поклонившись ему, поклониться и им, так незаметно и прочно вошедшим в нашу жизнь с «Последним поклоном».

Дал бы Бог ещё раз приехать в Овсянку. Я зайду в его избу на улице «партизана Шшетинкина», немного погоржусь, найдя себя в рамке семейных и дружеских фотографий, обниму его сестер Капу и Галю (от Августы Ильиничны и Анны Константиновны), которые теперь смотрят за музеем. И опять поверю, что смерти нет. Что Виктор Петрович сейчас придет с Енисея, на котором сидит всё реже («лёгкие никуда»), и мы станем пить чай («чай, чай, эту заразу сёдня пить не будем!»), а потом он

достанет рукопись, взденет очки и станет глуховато и как-то бережно, как чужое (будто каждое слово еще раз примеривает), читать: «Это было в пору, когда всё казалось радостным и от жизни ждали только радости. В немыслимо яркий ослепительный день спешил я в родную деревню... И в сердце моём, да и в моём ли только...глубокой отметиной врубится вера: за чертой победной весны осталось всякое зло, и ждут нас встречи с людьми только добрыми... Да простится мне и всем моим побратимам эта святая наивность – мы так много истребили зла на земле, что имели право верить: на земле его больше не осталось».

А войдет в книгу бабушка, и он засветится весь - не узнать: «...Выходило, что сватали Маню наперебой... сколько раз в кошеве приезжал из города сам Волков! A она, раскрасавица наша, чё?Да ничё! Даже на письмо его не ответила. А уж письмо-то было, письмо! Как в старинной книжке писанное – сказывалось всё в нём, будто в песне: любоф, любоф, да еще эта, как её, холера-то? Чуства. За божницей долго письмо хранилось, и как навёртывался грамотный человек, она просила его читать. И наревётся, бывало, слушая то письмо, да эти враженята, внученьки дорогие, добрались до письма, изрезали ножницами, либо сам искурил. Чё ему чуства? Токо табак жечь да бока пролёживать...»

А я буду слушать со смятением, восторгом, счастьем (даст же Господь дар!) и молить Бога, чтобы это никогда не кончалось, потому что, пока живет это слово и этот человек, живы и мы. А уйдет, еще неизвестно, что будет.

Но пока, слава Богу, он читает, читает...